

**Рудольф Штейнер**

**НЕСУЩАЯ СИЛА НЕМЕЦКОГО ДУХА**

**Лекция 6**

**Из GA 64:**

**ИЗ СУДЬБОНОСНОГО ВРЕМЕНИ**

**Берлин 25 февраля 1915**

*Перевод с немецкого А.А. Демидов*

В этот вечер мне также хотелось бы в рамках этого цикла лекций бросить взгляд на общее положение немецкой сущности, немецкого существа, так как мне кажется, что в наше великое, исполненное боли, исполненное горя время духовнонаучное рассмотрение является в некотором отношении своего рода этическим долгом; вот почему помимо чисто человеческого ощущения, предстоит осветить с точки зрения духовной науки горизонты судьбоносных событий, происходящих вокруг нас. В любом случае, речь в сегодняшний вечер пойдёт о том, чтобы благодаря приобретаемой посредством духовной науки «чувствительности», восприимчивости, обратить внимание на некоторые процессы немецкой духовной жизни и на понимание, проявленное по отношению к этой духовной жизни. Завтра я позволю себе вновь перейти к социальной духовнонаучной теме.

Если хотят взглянуть на те явления немецкой духовной жизни, которые особенно в последнее время предстают перед нами как выражающие весь характер этой духовной жизни, то это то же самое, на что уже часто указывалось в этих лекциях: это Герман Гримм, великий немецкий искусствовед, историк искусства, который проводил рассмотрение, исходя из глубочайших источников того, что как немецкая духовная жизнь со всеми её импульсами излилось в его душу. Этой зимой в одной из лекций я позволил себе назвать Германа Грима «штатгальтером», заместителем Гёте во второй половине девятнадцатого столетия». Как и Гёте, он со всем, что он создавал, жил в том, что, концентрировалось в Гёте как немецкая сущность, что как существо содержалось в немецкой Народной Душе, что затем влилось в поток немецкой духовной жизни, - так и Герман Гримм в некотором отношении является представительной личностью в немецкой духовной жизни второй половины девятнадцатого века. Примерно за два года до смерти Германа Грима появились статьи, - которым он в последние годы своей жизни дал обобщающее заглавие «Фрагменты». В Предисловии к этим «Фрагментам» он сказал исключительно характерные слова. Они показали, что эти отдельные, порой очень короткие статьи по тем или иным вопросам немецкой духовной жизни или зарубежной культуры были в целом плодом его духовного миропонимания; Герман Гримм упоминает, что его намерением было объединить в книге те лекции, которые были прочитаны им лет пятнадцать назад в Берлинском университете. В этой книге он намеревался отобразить рост и общее становление немецкой сущности в духовном отношении. Но он обращал внимание на то, как всякий раз, когда он приступал к отдельной лекции, обнаруживалась необходимость снова переработать то, что он уже разработал. Он говорит, что в последний момент, когда эти лекции должны были быть обобщены в книге о немецкой духовной жизни в целом, случилось так, что он не знал: проступит ли он к этому материалу когда-либо в своей жизни, ибо эта переработка требовала много времени, много усилий. Однако, - и это наиболее характерно, - это целое немецкой духовной жизни стояло перед его душой, и эти отдельные статьи, которые он опубликовал, он хотел

бы понимать так, как если бы они были отдельной частью, выхваченной из того, что стояло перед его душой как целое.

Герман Грим больше не приступил к написанию вышеуказанной книги. Он умер в 1901 г.; спустя примерно два года, после того, как он издал эти «Фрагменты», он умер. Уже в своей молодости он написал общую историю духовного развития европейских народов, и если мы будем рассматривать, как он, опять-таки, - что он часто подчёркивал, исходя из этого общего отображения европейской духовной жизни, хотел заданные им самим отдельные основные части, - его большое сочинение о Гомере, его монографии или биографии Микельанджело и Рафаэля и, наконец, его труд о Гёте, - если мы примем всё это к сведению, то навстречу нам выступит нечто чрезвычайно характерное. Мы, в сущности, имеем дело с тем, что жило в Германе Гримере, что, - хотя и не выступало перед ним в том действительном облике, как оно жило в его душе, - но из чего, можно сказать, возникала каждая отдельная, написанная им строчка, каждое отдельное слово, которое он произнёс в своей жизни. Если же человеку бросится в глаза та форма, тот способ, как Герман Грим говорит об искусстве, о немецкой культурной жизни, тогда в дополнение к только что сказанному, выступит ещё нечто особенное. Герман Грим всегда стремился вкладывать всю свою душу, всю свою нераздельную личность в то, что он высказывал; и если у кого-то есть стремление видеть все вещи ясно доказанными, кто, доказывая, переходит шаг за шагом от одного суждения к другому, тот не будет удовлетворён изложением Германа Гримера. Хотелось бы сказать: всё, что он написал, подобно ключу струится из всей его души так, что человек в качестве доказательства истины не имеет ничего, как только чувство, которое передаётся другому: этот человек, эта личность в широчайшем объёме переживает те вещи, которые он изображает; и он даёт, он преподносит своё переживание. Так, подобно ключу, струится то отдельное, которое он изображает, струится из того целого, которое, в сущности, присутствует здесь.

Так что же это такое, то, что живёт в Германе Гримере? Чем является то, что приводит нас к убеждению: всё отдельное рождается из целого! Что предчувствуем мы, как некую тень Духа, стоящую за теми отдельными подробностями, изображая которые, Герман Грим даёт нам целый мир?

То, что предчувствуется здесь, что проникает в человека в том, о чем с разных сторон повествуют его книги, я хотел бы назвать так: это несущая сила немецкого Духа, того немецкого Духа, который для тех, кто его вполне понимает, есть действительно не только какая-либо абстракция, которую можно резюмировать, путём обобщения в понятиях и идеях, выражаемых посредством представлений, - нет, это живое существо, которое реально ощущается через всю немецкую историю; существо, которое ощущают так, как если бы человек в своей душе вступал в диалог с этим существом и позволял ему инспирировать себя во всех отдельных подробностях того, что этот человек должен сказать. Так что, в сущности, как скоро человек имеет такое переживание, ему не надо ничего другого, как только уверенности в том, что этот Дух стоит за ним как инспириатор, - и человек, таким образом, излагает то, что имеет свою добротную доказательную основу. Это существо, о котором можно сказать, что это - живой немецкий Дух, медленно и постепенно вступает в немецкое развитие; однако он определяющим образом вступает в сознание лучших мыслителей, лучших умов.

В одном, достойно внимания месте, мы можем наиболее характерным образом обнаружить этот немецкий Дух. Это тот момент, когда один из лучших, один из наиболее полных духом немцев, Иоганн Готтфрид Гердер, попытался отобразить всеобщую жизнь человечества в его развитии. Гердер, великий предшественник Гёте, в сущности, рано подошёл к тому, чтобы бросить взгляд на всё развитие, всю эволюцию народов, для того, чтобы получить общую картину тех сил, тех существ, которые живут в этой эволюции народов. И то, что он смог осуществить тогда в качестве отображения его идей об этом ходе развития, об этом эволюционном процессе, он обобщил в своей книге «Идеи к философии истории человечества». В этих «Идеях» нам навстречу выступает панорама,

путь через эволюцию, развитие человечества, причём выступает таким образом, что мы ощущаем, что во всех отдельных явлениях и событиях живут существа и силы, и все они живо воздействуют на душу Гердера. В ещё довольно раннем возрасте, в юности Гердер выступил против формы исторического рассмотрения, свойственной Вольтеру. Он вполне признавал, что Вольтер был одухотворённым человеком. Но Гердер обнаруживал в исторических рассматриваниях Вольтера то, что все они, в конце концов, выражались в сумме идей, которые как бы правят, проходя через всю историю. Гердер выдвигает против этого возражение: идеи всё снова и снова порождают только одни идеи. Гердер не считал, что надо говорить о действующих в истории «идеях». Он хотел говорить о том, что менее абстрактно, о том, что является более конкретным, более живым, нежели исторические идеи. Он хотел говорить о том, как невидимые, живые существа стоят за всеми историческими событиями. Так однажды он сказал примерно следующее; то, чем являются внешние исторические события, для человеческого рассмотрения имеет ценность только тогда, если человек принимает во внимание, включает в рассмотрение действенных духов, стоящих за этими событиями, духовные силы, из которых явственно происходит то, что воспринимается чувствами; ибо то, что разыгрывается внешне, есть всего лишь облака, возникающие и преходящие, за которыми, однако, находится единое правление духов, идущих сквозь историю человечества, которую рассматривает человек.

Медленно и постепенно поднимается немецкое развитие к такому грандиозному рассмотрению истории. Можно сказать, что предпосылки для такого рассмотрения истории были заложены уже в Древней Греции. Уже там мы находим тенденцию, стремление к тому, чтобы дать такую общую картину человеческого развития. Такие стремления, однако, затем отступают, назад и только позднее мы находим в пятнадцатом столетии новые зачатки в этом направлении, как в Италии, так и на Западе Европы, во Франции и в Англии. Начинают искать связи, закономерности в историческом становлении человечества. Но связи эти понимались в материалистическом смысле. То, что происходило в течение истории, ставили в зависимость от климата, от географического положения, и тому подобное. Только когда немецкий Дух обогатил себя этим всеохватывающим рассмотрением истории, в неё вошёл, - можно сказать, - реальный, живой Дух. В душе Гердера возникла картина, которая обобщила природные события и, в качестве высшего, увенчивала эти природные события человеческими свершениями, Гердер, прежде всего, направлял взор на то, как развиваются природные существа, и как затем дух, который на подчинённой ступени действует в природе, доводит себя в человеке до своего наиболее характерного проявления. Этот дух, которого Гердер вполне сознательно выводит из сущности всеобщего Божества, действует в природе, но он действует и в человеческой душе. И то, что человек осуществляет в истории, является для него не только суммой друг за другом следующих событий, но имеет значение благодаря тому, что человек на Земле сам утверждает взаимосвязанный план Божественно-духовных существ; утверждает тем, что он делает.

Есть нечто величественное в том, когда Гердер называет человека в его земных деяниях «помощником Богов». В этом снова проявляется нечто из идей, ощущений и чувств немецкой мистики, которая интенсивно искала Бога непосредственно в самой человеческой душе. Гердер ищет Бога в истории; он ищет, как Бог отображает себя в тех деяниях, которые разыгрываются в историческом развитии. Сам Бог вершит то, чем является историческое развитие; а человек, в той мере, насколько он пронизан Богом, является помощником Бога. Сначала, - по Гердеру, - строится вся природа, затем, - человеческое царство, а над ним - царство высших духов. Гердер высказывает значительную мысль; человек есть творение, среднее между зверем и Ангелом. Тем самым Гердер определяет место человека во всеобщем развитии так, что человек является непосредственным выражением, откровением Божественной духовности. И если исследовать Гердера, - который не был систематизирующим философом, кто был далёк от построения абстрактных идей, - если исследовать Гердера, как он с несказанным

упорством и с поистине гениальным, широчайшим охватом набрасывает общую картину развития, эволюции, картину, которая позволяет объединить деяния человека с деяниями природы, - если исследовать Гердера, можно сказать: та сила, которая воодушевляла Гердера - это Божественная сила. Он осознал, что Божественные власти, правящие в истории, живут в нём самом. **НЕСУЩАЯ СИЛА НЕМЕЦКОГО ДУХА** явлена в Гердере, та сила, которая создала единую, общую картину человеческого развития и природного развития.

«Развитие», «эволюция» становятся тем волшебным словом, которое столь значительно проявляется в мировоззрениях наших дней. В те дни, когда жил Гердер, когда Гёте проводил свою юность, чтобы с помощью Гердера и других подняться к мировоззрению, несомому немецким Духом, - в те дни эволюционная идея, представление о развитии вступило в немецкую духовную жизнь. Эта эволюционная идея была бесконечно глубже, нежели идея, полученная на основе материалистического мировоззрения. Ибо в том, что рассматривается тут как «нечто саморазвивающееся», «развивающееся само собой», немецкий Дух видит в качестве действующего, движущего начала именно дух; и в каждом отдельном продукте природы он видит, - при рассмотрении эволюции, - дух в качестве Архитектора, носителя, исполнителя развития. Вот почему Гердер сумел плодотворно ввести в духовную историю, во всю историю развития идею, которая обнаруживает дух в становлении человека.

И здесь рядом с Гердером, как великий указатель пути в духовной жизни стоит Винкельман, который развил искусствознание, историю искусства в том же течении, которое можно назвать эволюционно-историческим мирозерцанием, несомым немецким Духом. Гёте сказал о Винкельмане, первом немецком искусствоведе: Винкельман – второй Колумб, открыл, что развитие и искусство и судьба искусства связаны с общим законом эволюции, открыл то, как искусство в своей деградации и в своём подъёме идёт в ногу с культурой и судьбой народа.

Так мы видим, как благодаря этим мыслителям, этим умам, - это произошло уже благодаря Лессингу, - дух во всяком становлении стал рассматриваться как сущностный носитель, как собственная субстанция эволюции. Это мировоззрение непосредственно вело к самодостаточному знанию о духе, к тому, чтобы стать несомым посредством духа. Но это пронизало душу уверенностью, внутренней силой. Можно было бы сказать: во всём этом уже живёт предчувствие того, что этот немецкий Дух со всем его идеализмом, содержит семя истинно научного спиритуального рассмотрения мира, которое должно идти навстречу человечеству. Ведь если вспомнить о том, что духовная наука стремится к знанию о мире, которое достигается благодаря тому, что душа развивает внутренние, брезжащие в её глубинах силы; тем самым она приходит к тому, чтобы посредством духовных органов, - используя слова Гёте, - посредством духовного ока и духовного слуха созерцать то, что, будучи невидимым, действует и ткёт за видимым, - если человек вспомнит об этом, если он вспомнит и о приведённом высказывании Гердера, то в духе появляется уверенность в том, что человечество когда-либо примет участие в духовном рассмотрении мира. Ибо, как было сказано в прекрасном изречении Гердера: человеческий род не прейдёт, пока Гений Просветления объемлет Землю. Взор Гердера всегда был направлен на интимное тканье и сущность духовного, правящие во всём чувственно-воспринимаемом. Каждого человека, а не только великих исторических личностей, Гердер рассматривал так, что мысли - есть не только мысли, постигаемые нашим головным мозгом, мысли – есть нечто текущее, сущностное, живое. Если же эти мысли таковы, что их охватывает Дух Времени, чтобы воплотить их в потоке свершений, тогда Гердер говорит о тех людях, которые посредством таких мыслей формируют целую эпоху; часто они, эти гении, живут и творят в полной тишине; но их мысли, охваченные Духом Времени, вносят правильное устройство, внося порядок в общий вещественный хаос.

Обращая внимание на эти вещи, никогда не следует говорить, что они, якобы, являются всего лишь видом абстрактных философских размышлений, ибо они не являются тут изолированными, подобно личностным впечатлениям, нет, они являются тут, будучи органически связаны с непрерывным потоком немецкой духовной жизни, причём всегда так, что личности, высказывающие эти мысли, те кому эти мысли являются подобно откровению вследствие образа мыслей этих личностей, - эти личности надо рассматривать как инспирированных несущей силой немецкого Духа. Эта несущая сила немецкого Духа и в новейшие времена была глубоко прочувствована теми, кто имел понятие о ней, предчувствовал её. То, что переживалось как несущая сила немецкого Духа, было воспринято не только в абстрактной философии; это было воспринято глубочайшими ощущениями души.

Так, например, умерший в 1891 году Пауль де Лагард, - опять-таки один из наиболее немецких мыслителей, - сказал однажды следующее, весьма характерное для всего вида и рода его отношения в несущей силе немецкого Духа: «Однажды, близкие одного друга, на похоронах которого я был, предложили мне сказать надгробную речь, сначала на кладбище.» Тогда Лагард открыто заговорил о том, что связывает человеческую душу с вечностью, с духовным началом, которое проходит через врата смерти как нечто живое. Далее он говорит: «Я чувствую себя сконфуженным, мне стыдно. Ведь кто я, в сущности, такой? Кто я такой, что осмеливаюсь говорить о том, что связано в вечно-духовным? Мне стыдно, но я считаю, что сказанное мной найдёт плодоносную почву в тех душах, которые сопровождали умершего к могиле». И теперь Лагард, словно проявляя практицизм, говорит: «С немцем, когда он говорит о любви к отечеству, дело обстоит так: он ощущает, как эти речи о любви к отечеству, в сущности своей, столь интимны и священны, что он испытывает стыд, говоря об этом; он также чувствует: то, что он говорит об этом, западает в чувствительные, восприимчивые души».

Только надо такие высказывания, которые в действительности в высшей степени обнаруживают сущность немецкого характера, проводить перед своей душой; отсюда можно сделать вывод, как немец, столь верно ощутивший себя внутри этого немецкого народного существа, должен мыслить и чувствовать своё отношение к его Народному Духу, посредством которого высказывается немцу Божественная духовность мира в целом, как он ощущает его в качестве живого существа, к которому он приближается, - также и посредством познания, - имея страх Божий, благочестиво. Лагард - один из тех, кто во второй половине девятнадцатого века на основе глубокой учёности, но также и из глубокого душевного ощущения говорит самые разные вещи о немецком начале, об источниках немецкого начала. Он один из тех, кто неустанно, всё снова и снова, указывает на то, что существо немецкого начала оснуется в духовном, в том, что как всеобщий Дух проходит через всё немецкое развитие. Тот, кто хочет найти сущность немецкого начала, начиная с его корней, не может довольствоваться тем, что материалистическое воззрение, - имея в виду сущность народа, - называет «кровью» и «расой». Лагард не довольствуется этим; ибо он чувствует, что сущность немецкого начала может быть выражена лишь через духовные идеи, через духовные восприятия. Лагард говорит так; немецкое начало покоится не в крови, но в душе. Среди наших великих людей и Лейбниц, и Лессинг наверняка были славянами, Гендель, будучи сыном галльской женщины, был кельтом, отец Канта был шотландцем; тем не менее, разве кто-либо не считает их немцами? - В чём же ищем Лагард, этот наибольший немец из немцев, в чём же он ищет немецкое начало, которое является несущей силой немецкого Духа, в которое может погрузиться тот, кто сумел воспринять и реализовать в себе это немецкое существо? Лучшие из немцев всё снова и снова не уставали объяснять, что сущность немецкого начала может выражаться и проявляться лишь посредством духовности. Предпринимая такие рассмотрения, всегда сводят немецкий Дух к более конкретному, более реальному существу. Его чувствуют, как нечто текущее в потоке немецкой жизни, особенно в потоке немецкой духовной жизни; и тогда понимают, как в ходе своего развития немец ощущает

потребность в современности всё больше и больше обогащать своё собственное существо тем, что ещё в древние времена немецкий Дух вливал в немецкую народность из своих истоков.

Так мы находим, как, ориентируясь на Гёте, немецкие романтики, словно бы обновляя древнее немецкое существо, углублялись не только в народные песни, но в общую немецкую духовную сущность, чтобы дать подействовать на свою собственную душу тому, что свойственно немецкой народности в целом. И тогда мы снова видим, как немецкое развитие в случае братьев Гримм было инспирировано тем, что создавала немецкая сущность в древности. Мы видим, как братья Гримм шли в народ, чтобы им рассказывали древние сказки, которые они собирали. Что же было заложено в этом сборе немецких сказок, которые действительно производят стократное впечатление, которые извлечены из самого непосредственного народного элемента, народного характера? В них заключено ни что иное, как несущая сила немецкого Духа!

Но как же действует она дальше, эта несущая сила немецкого Духа?

Это мы могли бы особенным образом увидеть на примере усилий, уже названного Германа Грима. Зачастую, когда позволяют действовать на душу этим тонким, благородным, этим всеобъемлющим характеристикам искусства, данным Германом Гриммом, когда обращают духовное око на эти необычно тонкие нюансы, заложенные в его книгах, могут спросить себя: как эта личность приходит к тому, чтобы сделать душу столь эластичной, гибкой, чтобы она могла погрузиться в глубочайшие тайны художественного воздействия и художественного творчества? Я полагаю, тут не может быть иного ответа, кроме такого, который последовал бы из рассмотрения того, как Герман Гримм, перед тем, как заняться рассмотрением искусства человечества, высказывался сам в художественной, поэтической форме. Ибо эти высказывания наиболее характерны для несущей силы немецкого Духа. Мне хотелось бы указать на весьма небольшое.

Здесь сразу же мы имеем историю, которая значится первой в томе «Новеллы», собрания историй и стихотворений Германа Грима; она называется «Певица» (“Die Saengerin”) история, которая, как и принято в новелле, построена так, что обращают внимание на те процессы, которые разыгрываются перед глазами человека, процессы, которые можно охватить посредством способности представления, связанной с физическим телом. Герман Грим мастерски изображает то, что происходит; он изображает женщину, к которой глубоко привязан один мужчина: но вследствие её характера и всего её существа эта женщина отталкивает этого мужчину. Приведение подробностей завело бы нас далеко. Дело дошло до того, что мужчина покончил жизнь самоубийством. А женщина осталась. И вот, после смерти этого мужчины, который любил её, она чувствует не только боль и страдание, нет, в её душевной жизни её охватывает нечто, что имеет непосредственное отношение к сверхчувственному. Она проводит ночь у одного друга, того друга, у которого покончил с собой влюблённый в неё мужчина. Она чувствует беспокойство, но не понимает его причину. Затем она говорит, что не может спать в комнате одна: друг должен охранять её. И вот, когда он её охраняет, у неё возникает видение; поэт ясно указывает, что он хочет выразить нечто больше, чем просто игру фантазии. К двери спальни подходит духовный облик умершего. И если исследовать то, что, собственно. Хочет выразить Герман Грим этим явлением, то окажется, что он хочет сказать: с тем, что разыгралось здесь перед глазами человека, происходящее не исчерпывается. Духовные факторы, духовные существа вторгаются в физические события; и когда наступает смерть, тогда то, что прошло через врата смерти, продолжает существовать там, в духовном мире, и действует на тех, кто восприимчив к этому.

Герман Грим, тем самым, является новеллистом, который в своих новеллах, в своих художественных произведениях допускает явления духовного мира. В этих лекциях я часто сообщал о том, что же появляется перед этой оставленной возлюбленной. Это то, что может быть названо эфирным телом указанного умершего, то, что может явиться в облике умершего для тех, кто восприимчив. Однако не все люди восприимчивы для этого.

Затем Герман Грим написал роман «Непреодолимые силы», который имеет большое значение и как культурно-исторический роман и как роман вообще в духовной истории человечества. Здесь тоже умирает влюблённый, оставив любимую. И когда она ищет исцеления в одном южном местечке, она мысленно всё больше и больше страдает по возлюбленному, и, в конце концов, умирает. Её смерть Герман Грим необычным образом описывает в заключительной главе романа «Непреодолимые силы». Он пишет, как из её тела поднимается некий духовный облик, который спешит навстречу к тому возлюбленному. И снова Герман Грим не завершает произведения событием, видимым на Земле; но он соединяет то, что является внешне чувственным, то, что доступно рассудку, с тем сверхчувственным, что продолжает действовать, поднимаясь над смертью.

Я бы не стал приводить такие примеры, если бы они полностью не соответствовали тому, что должна говорить духовная наука об этих вещах. Само собой разумеется, художника не следует принимать как доказательство духовной науки. Но если такие примеры приводить в качестве демонстрации того, что духовная наука должна принести человечеству, то это допустимо постольку, поскольку в таком мыслителе, как Герман Грим, - который действовал как представитель искусства второй половины девятнадцатого века, - в таком мыслителе, как Герман Грим заложена грядущая духовная наука. Хотя он ещё и не в состоянии преподнести духовную науку как таковую, но в художественном смысле он изображает вещи так, что можно почувствовать; духовная наука, исходя из несущей силы немецкого Духа, хочет ознаменовать своё вступление в духовную культуру человечества.

Герман Грим, - это вытекает из всей его писательской деятельности, - в сущности, никогда не хотел признаваться себе в том, на чём он основывался, давая такие описания, он испытывал некоторое отвращение перед тем, чтобы перекладывать в обычные понятия те вещи, которые он стремился охватить лишь самым тонким, интимным, духовно-художественным образом. Но если он не был в состоянии постигнуть эти вещи, как может говорить о них сегодня духовная наука, и, всё же, эти вещи были, так сказать компетентно, профессионально отображены им, то, что же тогда жило в нём? Несущая сила немецкого Духа, - именно она была его Инспиратором! Так мы находим как поистине реальное существо этот немецкий Дух с его несущей, движущей силой; мы должны устремить на него наш духовный взор, если мы вообще хотим познакомиться с немецкой Сущностью.

Гёте произнёс однажды очень значительные слова, которые следует принять к сведению, когда речь заходит об отношении немецкого Духа к отдельным немцам, когда речь заходит о том, каким образом немецкая Сущность, - можно сказать, - непосредственно живёт в немецких странах, землях, живёт перед глазами тех людей, чьи глаза направлены на какие-либо личности, на каких-либо людей в немецких землях. В одном доверительном разговоре последних лет Гёте сказал своему секретарю Эккерману: «Мои вещи не могут быть популярны; ошибается тот, кто так думает и к этому стремится. Они не для толпы написаны, но лишь для отдельных людей, которые хотят и ищут чего-то подобного, которые мыслят в сходном направлении».

Тем самым высказано наиболее значительное. Можно сказать: немецкой Сущности, существу немецкого начала, - используя выражение Фихте, - свойственно ощущать немецкий Дух как нечто поистине живое, переживать общность немецкой Сущности, единство немецкого Духа как нечто особенное, наряду с тем, что проявляется внешним образом как немецкая жизнь. Общность немецкой Сущности не становится от этого менее реальной, она, по крайней мере, может существовать для каждого в отдельности. Отсюда стремление немца - рассматривать отдельные явления мира в связи со всем мировым развитием и эволюцией человечества. Во второй половине девятнадцатого века мы находим одного поэта, живущего в немецкой области Австрии, поэта, который, можно сказать, обошёл весь свет для того, чтобы на основе различных культурных проявлений, культурных духов, понять отдельного человека из духа общности (Gesamtgeist). Я имею в

виду Роберта Гамерлинга, который в своей поэме «Аспазия» пытается общему Духу эллинизма, гречества, дать высказать себя через отдельного человека. Затем в своём «Короле Сиона» Гамерлинг пробует отобразить личное немецкое существо. Далее он пытается выразить истинный дух революционной французской толпы в своей драме «Дантон и Робеспьер». И, наконец, он в грандиозной, всеобъемлющей форме хочет в поэтическом смысле преподнести дух нашего времени в своём «Гомункулусе». Потребностью Гамерлинга всегда является изображать отдельного человека в связи с тем, что как некая духовная ткань, как сумма духовных существ оживляет и пронизывает поток человеческих свершений. Работа немецкого Духа там, где он выступает в своих наиболее интенсивных проявлениях, насквозь пронизывается, - поверх отдельных явлений, - взглядом на целое, на живую духовность.

Вот почему для того, кто, - можно сказать, - видит не далее двух метров выше своего носа, но берется рассматривать немецкое начало в какой-то ограниченной области, понять немецкую сущность чрезвычайно трудно. Ибо понять её можно только тогда, если действительно рассматривать связь немецкой души с тем ткущим в мире духовным существом, которое раскрывает себя в немецком Духе. Именно это, наряду с прочим, упомянутым в данной лекции, является причиной, почему этот немецкий Дух, почему этот несущий немецкий Дух понимается столь неправильно, почему теперь он подвергается унижению и поруганию. Надо спросить: в каком положении находится немецкая духовная жизнь по отношению к духовной жизни других народов?

На одном характерном примере мне хотелось бы сегодня пояснить, - непосредственно в связи с вышеизложенными сведениями, - пояснить, как трудно немцу, чувствующему себя связанным с немецким Духом, сделаться полностью понятным в том случае, если то, что он использует, получив от немецкого Духа, должно выявить свою ценность в каком-то отдельном проявлении.

В последнее время многократно говорилось о том, что устаревающая, ставшая несколько декадентской французская духовная жизнь испытала своего рода омоложение, что среди молодых французов есть люди, которые уже не идут в ногу с французским официозом. И во многих кругах, которым, как можно надеяться, эта война больше откроет глаза, нежели были они открыты ранее, в этих молодых французах увидят тех, кто относится к немецкому Духу с гораздо большим пониманием, нежели официальный Париж и французский официоз. Было указано на характерные явления внутри этого молодого французского начала. На самом деле, тут можно найти многое, что, - можно сказать, - очень значимо. Есть молодое французское духовное направление, которого не удовлетворяет официальная Франция; та самая Франция, которая в настоящее время ведёт войну с Германией.

Что же говорят эти молодые французы? Лишь краткий пример хотел бы привести сегодня, сообщая о том, что говорит Леон Базальже:

«Одна радость, которую дарит нам националистический ярмарочный балаган, состоит в прекрасной откровенности, откровенности, которую поддерживают стремящиеся к ней её старые и юные поклонники. Откровенность, которая воодушевляет наших, и от нас, зрителей требует взвешенного возражения. Видно, как они раздуваются от удовольствия, произнося слова: «французский ренессанс». На третьем году жизни - возвещают они - толстощёкий ребёнок уже играет маленькими солдатиками, пробуждая национальную гордость и социальное доверие. Они сопровождают это такими жестами, что ни один из собравшихся ротозеев не усомнится: это – выражение их надежд; скоро обстоятельства позволят детям победы насладиться королевской радостью реванша.

Это люди, которые хотели бы направить все деятельные силы своего народа так, чтобы эти силы вылились, воодушевляя, в ту, пока ещё неизвестную «добродетель» - в ненависть. В эпоху, когда весь мир содрогается от действий, тщеславных стремлений, мечтаний и новых, переходящих все границы желаний, их единственные чувства и порывы, которыми они так горды, состоят в том, чтобы ударами кулака уладить древние

междоусобные конфликты. О, бедные, надменные фантазёры, которые не в состоянии вызвать своими заклинаниями иные формы героизма, нежели реванш. Бедные, маленькие, пристрастные глупцы, кому не доставало подходящих желаний, чтобы утолить свою горячую жажду деятельности...

...Во имя какой великой идеи, - идеи, за которую во все времена, ни один человек не усомнился бы отдать свою жизнь, - ведёте вы войну с Германией? Разве на карту поставлена ваша свобода? Разве вы живёте под иггом, или оно угрожает вам? Идёт ли речь о странах, которые следовало бы цивилизовать, аннексируя их, или о народах, которых надо освободить от рабства? Нет, речь идёт о попытке снова отвоевать область, принадлежащую нам, потерянную нами в войне, область, в которой добрая половина жителей - не французы, а немцы...ещё в меньшей степени стоит тут говорить о повторном завоевании этой области (Эльзас и Лотарингия - прим. перев.) ради утоления древней мести. Так вот та идея, во имя которой эта страна (Франция), слишком охотно присвоившая себе титул борца за правое дело, - начала войну.»

Я мог бы сказать, что и некоторые иные голоса в известном кругу, производили благоприятное впечатление; голоса, доходившие от тех молодых французов, о которых говорили, будто бы они хотели основать новую Францию. И одним из тех, кого некоторые немцы причисляли к тем молодым французам, желавшим создать новую Францию, является Ромен Роланд. Он написал большой роман, - большой в смысле его объёма, так как в нём очень много томов. Интересно посмотреть на то, как у нас в некоторых кругах, пусть даже ещё маленьких, думали об этом романе Романа Роланда. Один критик не усомнился сказать, что этот роман «Жан Кристоф», - на немецком имя звучит как «Иоганн Христова сила» - есть самое значительнейшее деяние, совершенное с 1871(франко-прусская война - примеч. перев.) ради примирения Германии и Франции. Впрочем было относительно немного тех, кто говорил: в романе «Жан Кристоф» видно, как один из тех молодых французов с любовью, с внутренней любовью смотрит на немецкое, видно, что он принадлежит к тем, кто сделает невозможным, чтобы в будущем оба народа жили не в мире.

Этим надеждам не суждено было сбыться, и, кроме того, этот Ромен Роланд относится к тем, кто вместе с Метерлинком, Верхаром и так далее, как только началась война, тотчас же, самым нескромным образом высказывался и о Германии, и о немецкой сущности. И всё же интересно посмотреть, как этот человек, Роман Роланд, о котором у нас так много говорили, будто бы он хорошо понимает немецкую сущность, что он будто бы из самого внутреннего ядра немецкой Народной Души и немецкого Духа постиг то, что является несущей силой немецкого Духа, - интересно посмотреть, как же этот человек понял немецкую сущность. Я очень хорошо знаю, что не только французы находят в этой немецкой сущности нечто «варварское», - это слово употребительно именно сегодня, - и я должен сказать вам об этом. Но я хорошо сознаю, что не оскорблю никаких истинно эстетических ощущений, говоря то, что я должен сказать независимо от других суждений, имеющих место в указанном направлении по поводу этого романа.

Что особенно воодушевляет этих людей, так это то, что француз описывает немца, - Иоганна Христофора Крафта, который вырос из немецкой сущности, мы вскоре увидим, как, - и который, после того, как он провёл свою юность в Германии, направляется во Францию, чтобы там найти своё дальнейшее поприще. В этом видят совершенное, особое наведение мостов в противоположности между немецким и французским началом. Теперь нам надо провести перед своей душой этого «Жана Кристофа» для того, чтобы полностью понять то, что следует сказать по данному поводу.

Я знаю, какое уважение оказывали критики, высказывая своё мнение об этом романе; образ этого Жана Кристофа, якобы таков, что он как будто бы выхвачен непосредственно из жизни; ни одно движение, - так они ощущали, - не могло бы быть иным в этой картине. И всё же я должен сказать: этот Жан Кристоф представляется мне неким легким, но не перевариваемым рагу, в его характере дисгармонически сплавлены характерные

черты юного Бетховена, Вагнера, Рихарда Штрауса и Карла Маркса. Пусть простят мне почитатели Жана Кристофа, но таково впечатление. Этот Жан Кристоф растёт, - впрочем, будучи перенесён в современность, - растёт, подобно тому, как рос Бетховен. Снова узнаёшь все черты юного Бетховена, - хотя и в карикатурном искажении, - вплоть до отдельных подробностей, но только так, что жизнь юного Бетховена всюду кажется грандиозным произведением искусства, тогда как жизнь Жана Кристофа кажется карикатурой. Перед писателем, дающим облики чего-то исторического, не стоит задача быть верным этой истории. Все упрёки, которые в данном отношении делаются критиками, я мог бы сделать и самому себе; и всё же я должен сказать: Жан Кристоф подрастал в окружении, которое, - по мнению многих людей, - даёт образ немецкой сущности. Тут приведены дедушка, бабушка, дядя и другие, кто был его друзьями. Он подрастает так, что немецкая сущность, из которой он, собственно и произрастает, ощущается как величайшее препятствие для его развивающейся гениальности. Немецкая сущность изображается, например, следующим образом: как и Бетховен, юный Жан Кристоф является своего рода юным композитором. Он сочиняет музыку ещё в юные годы. Отец, - пьяница, - ощущает побуждение вывести этот рано созревший талант в свет. Этот отец является секретарём, слугой одного мелкого немецкого князя. Особенность принадлежности к немецкому началу у этого отца культурно-историческим образом отображается в том, что он, планируя концерт с маленьким семи - или восьмилетним Жаном Кристофом, концерт, на котором должен будет присутствовать и сам князь, раздумывает над тем, как нарядить мальчика. Наконец, ему приходит хитроумная идея, вышедшая из истинного культурно-исторического честного немецкого начала. Это описывается так: он одел его в длинные штаны и фрак с белым бантом, так что мальчик стал маленьким восьмилетним мужчиной. Я не хотел бы рассказывать, - что завело бы слишком далеко, - как разыгрывалось это немецкое мероприятие позднее. Я также не хочу описывать в подробностях, как мальчик ощущал отвращение ко всему, что несло ему всё это немецкое окружение, которое, - по мнению многих людей, - описано автором с «любовью». И которое должно было представлять собой верный образ немецкой сущности. Когда же он не был больше в состоянии выносить это окружение, он почувствовал в себе побуждение, - так это названо в книге, - отдаться инспирации латинского духа. Итак, он отправляется в Париж. Там он находит друга, который во многом является четким отображением самого Ромена Роланда. Он выражает то, что в будущем обещает это юное, вновь рождённое французское начало; он тот, кто привносит некоторый порядок в душу той беспутной головы, той куклы, сплавленной из молодого Бетховена, Вагнера, Рихарда Штрауса и других. Это та «любовь», с которой, по мнению некоторых, рисуется немецкий характер Жана Кристофа. В Париже Жан Кристоф испытывает разное; при этом мы замечаем некоторые черты Вагнера. И когда он теряет друга, он снова отправляется дальше на юг, переживает там многое, граничащее с предательством, которое даже доводит его до неудачного самоубийства. После этого этот Жан Кристоф, который не имел возможности успеха в своём немецком окружении, приходит к латинству, латинской сущности; он приходит в уединённую струю деревню, как бы возвращаясь к самому себе; он завоёвывает себе свой собственный дух. В нём восходит вечность.

Теперь хотелось бы испытать ещё пару проблем любовного погружения в немецкую сущность, проблем, вызванных романом. Это, например, отец, характер которого скопирован с отца Бетховена, Мельхиора. Само собой разумеется, я знаю, что каждый может сказать; ты извлекаешь из романа слова, которые могут и не дублировать мнение автора. Однако художественная композиция данного романа совершенно не соответствует требованию, высказанному ещё Шиллером в прекрасных словах, написанных им о «Вильгельме Мейстере», и что действительно имеет отношение к художественной композиции любого романа. Когда Гёте порицали за то, что он не вполне морально приводил в своём романе некоторые личностные свойства, Шиллер сказал: «Если эти

люди могут доказать Вам, что неморальное исходит из Вашей собственной души, тогда Вы должны признать свою эстетическую ошибку; если же они исходят из персонажа, тогда Вы в любом отношении оправданы». – Это золотое правило в искусстве представляет собой нечто такое, что затем переходит в несущую силу немецкого Духа. Лучшие художественные произведения, которые мы находим в Германии, действительно написаны под влиянием этого образа мыслей Шиллера и Гёте. Однако у Романа Роланда мы постоянно встречаем, почти в каждой третьей строке, замечания, по которым можно заключить, что это говорит не персонаж, а сам автор. В этом случае это всего лишь отговорка, если упрекают в том, что непозволительно, мол, то, что случайно, - пусть и не однажды высказано персонажем, - но и то, что характеризуя персонаж, говорит автор, рассматривать в качестве отношения автора к немецкой сущности. Отец Мельхиор, например, характеризуется следующим образом:

«Он умел говорить красиво, был хорошо сложен, хотя и немного неуклюж; он был тем типом, который в Германии расценивается в качестве образца классической красоты: широкий, невыразительный лоб, сильные, правильные черты лица, выющаяся борода - Юпитер с берегов Рейна».

Затем следует характеристика друзей Мельхиора, как они собираются у отца, вместе играют и поют:

«Иногда они пели вместе мужским квартетом одни и те же тевтонские песни, которые одна, как другая, с праздничной наивностью и граммофонными гармониями, тяжеломерно, - как бы на четвереньках, - уносились прочь».

Любвеобильное описание немецкой сущности! Я привожу это только ради характеристики. Затем в романе появляется дядя Теодор, пасынок дедушки; он описывается следующим образом. Я ничего не имею против того, что отдельные персонажи изображаются так, но я обращаюсь лишь против того, что такое описание должно явить собой культурный образ немецкой сущности. Ведь отсюда становится заметно: Роман Роланд постоянно примешивает сюда то, что как бы подталкивает его высказаться о немецкой сущности. Об этом дяде Теодоре сказано:

«Он был совладельцем большого торгового дома, который поддерживал связи с Африкой и Дальним Востоком. Он в целом представлял собой тип тех немцев нового стиля, которые с пристрастием старого идеализма с язвительным презрением относятся к расам и, будучи опьянены победой, силой и успехом, исповедуют культ, доказывающий, что им непривычно жить под этими знаками. Но невозможно ведь вдруг изменить многовековую природу народа; этот регрессивный идеализм все снова и снова проявляется в речи, в поведении, в моральных воззрениях, в цитировании Гёте во всех, даже самых ничтожных домашних случаях жизни. Вот так, возникла потребность посредством причудливых усилий привести в согласие почтенные принципы старого немецкого бюргерства с цинизмом нового рыночного грабежа - странная смесь совестливости и эгоистической корысти, смесь, несущая в себе отвратительный запах лицемерия. Всё это сводится к тому, чтобы из немецкой силы, жажды денег, корыстных интересов создать символ всякого права, справедливости и истины».

Любвеобильное описание! Затем молодая дворянка, в которую влюблён Жан Кристоф описывается как тип молодой немецкой девушки. Её зовут Минна:

«Впрочем, при всей сентиментальности и романтике, Мина была спокойна и холодна. Несмотря на своё аристократическое имя и гордость, которую ей внушало словечко «фон», она имела душу немецкой домохозяйки...» - затем он говорит далее:

«Минна, эта маленькая наивно чувствительная немецкая девушка умела играть в какую-то странную игру.»

И теперь, чтобы на культурно историческом уровне вывести наиболее характерные черты немецкой сущности, сообщается в чём состояла игра; надо было рассыпать по столу муку, положить в неё какие-то предметы, а затем искать их губами.

Затем следовало показать, почему же немецкая сущность была столь несносной для Кристофа; и при этом можно снова сказать только одно: нечто как бы подталкивает автора выразить то, что он чувствует сам относительно немцев. Понадобилось описывать неправдивость, фарисейство в немецком идеализме, в том идеализме, относительно которого Ромен Роланд полагает, что он возник, якобы, только оттого, что правда была неприятна кому-то, и он взирал на идеал: человек лжет относительно правды, действительности, и называет это идеализмом. Так немцы приобрели свойство не просто рассматривать людей, но «идеализировать» их, лгать себе относительно их истинных качеств. Эти качества усвоил бы себе и Кристоф, если бы они не оказались для него слишком отвратительными.

«После того, как однажды убедился в том, что они» - некоторые люди - «были бы отличными и должны были нравиться ему, он, как настоящий немец, приложил все усилия, чтобы поверить в то, что они ему действительно нравятся. Но это не удавалось ему: ему недоставало того услужливо-сговорчивого германского идеализма, который не хочет видеть, и не видит того, открытие чего было бы для него мучительно, не видит из страха разрушить приятное спокойствие своих суждений и уют своей жизни». Оказывается «немецкий идеализм» был развит для того чтобы не нарушать жизненный уют! Затем следует описание ещё одной девушки, в которую Жан Кристоф, само собой разумеется, тоже влюблён, некий прообраз уродства, «маленькая Роза». В романе прямо-таки чувствуется, что нос у неё едва ли правильно поставлен на лице, остальное – ещё больше; в любвеобильном культурном описании о ней сказано:

«Немцы счастливы снисходительностью в отношении к физическим недостаткам; они справляются с ними тем, что не замечают их: они могут даже зайти так далеко, что с благосклонной, доброжелательной фантазией приукрашивают их, обнаруживая неожиданное соответствие между лицом, которое они хотят видеть и великолепнейшим экземпляром человеческой красоты. Не требовалось большого дара убеждения, чтобы побудить этого старого филина» - дедушку Розы - заявить, что у его внучки нос как у Джуно Людовицы».

Но после того, как он на своей собственной персоне опробовал лживость немецкого идеализма, - он всё снова и снова обнаруживал эту лживость у знаменитых «гениев», но раньше не верил, что это должно быть характерно для немецкой сущности, что отличительное свойство немцев – идеализировать людей. Теперь же он приходит и к тому, что, по существу, вся немецкая музыка склонна к диссонансам; и это тоже связано с немецким идеализмом! Теперь дело в том, что он сам должен быть значительнее, чем всё остальное. Это показывают несколько слов о Шумане:

«Но именно его пример позволил Кристофу понять, что наихудшая фальшь немецкого искусства заключается не в том, что композиторы хотят вызвать чувства, которых сами они не испытывают, а в большей степени в том, когда они выражают чувства, которые испытывают, - и которые сами по себе фальшивы. Музыка есть неумолимое зеркало души. Чем наивнее и доверчивее становится немецкий музыкант, тем больше обнаруживает он слабость немецкой души, её ненадёжную основу, её мягкую сентиментальность, недостаток искренности, её несколько коварный идеализм, её неспособность видеть и мерить самое себя, смотреть себе в лицо».

Ну, поскольку Жан Кристоф есть всего лишь вновь пришедший Бетховен, - он живёт, конечно, после Вагнера, - и должен быть гением, каких ещё никогда не было, он должен излить свою злобу и на Вагнера. Тут-то и появляются всевозможные «любвеобильные вещи»; действительно нельзя сказать, будто бы простительно то, что вложено в уста Жана Кристофа; нет, это выражено так, что эмансипируется, отделяется от личности Жана Кристофа и превращается в нечто такое, что несет абсолютную окраску самого автора. Так о Рихарде Вагнере, в отношении Лоэнгрин и Зигфрида сказано:

«Германия любит себя в этом впадающим в детство старческом искусстве, в этом искусстве распушенных бестий и мистически бормочущих девиц».

Надо сказать, что есть ещё более доходчивые, ещё более «любвеобильные характеристики» немецкой сущности. Вот одна на пробу:

«После немецкой победы (1871 франко-прусская война - примеч. перев.) особо деятельно всё, стремящееся заключить компромисс, создать отвратительную помесь новой власти и старых принципов. Не желают отказываться от старого идеализма: это было бы делом искренности, на которое не способны; вот почему удовольствовались тем, что сфальшивили его ради того, чтобы поставить на службу немецким интересам. Следуют примеру Гегеля, явно двуличного шваба, который дожидался Лейпцига и Ватерлоо (битвы, соответственно окт.1813г и июнь 1815г, где был разгромлен Наполеон - примеч. перев.), для того, чтобы приспособить мысли своей философии к прусскому государству». – Тут надо всё же сказать, что основополагающий труд Гегеля «Феноменология духа», - в чём, однако Ромен Роланд, по всей вероятности разбирался слабо, если говорит, что философия Гегеля возникла после Лейпцигской битвы и Ватерлоо, - «Феноменология духа» была написана под канонады биты под Йеной, то есть 1806 году, и уже содержала общую философию Гегеля. –

«и теперь, после того, как интересы у них стали другими, изменились также и принципы. Если бы их побили, то сказали бы, что идеалом Германии является человечество. Теперь же, когда побиты другие, оказывается, что идеалом человечества является Германия. Пока другие страны были мощнее, они, вместе с Лессингом говорили, что любовь к отечеству есть героическая слабость, без которой вполне можно было бы обойтись, и называли себя глашатаями мира. Теперь, одержав победу, выражают непомерное презрение к «французской утопии» - миру во всём мире, братству, мирному прогрессу, правам человека, естественному равенству; говорят, что более сильный народ имеет абсолютное право по отношению к другим, в то время как другие народы, как слабейшие, по отношению к нему бесправны. Живым Богом и воплощённым Духом должен казаться тот, чей успех достигнут посредством войны, насилия и принуждения. Священно то, что говорит сила, которую имеют на своей стороне. Сила теперь стала олицетворением всего идеализма, всего разума. Чтобы воздать честь истине, надо сказать, что Германия на протяжении столетий...» -

это, должно быть единственное, что эти люди ищут у Германии, чтобы воздать честь истине -

«Германия на протяжении столетий столько страдала, обладая идеализмом без силы, что после столь многих испытаний ей простительно, если теперь, выйдя из трудного положения, требуют, прежде всего, силу, мощь, насколько возможно создать её. Но, сколько же скрытой горечи заложено в таком исповедании народа Гердера и Гёте! И какое отречение, какое унижение немецкого идеала заложено в этой немецкой победе! – И, ах, этот отказ, это отречение проявилось во множестве идущих ему навстречу, проявилось в достойной сожаления склонности всех лучших немцев к подчинению».

«Что характерно для немцев», - говорил Мозер уже более ста лет тому назад, - «так это послушность»

И госпожа де Шталь:

«Они отбиваются организованно. Они берут на помощь разумные философские основания, для того, чтобы провозглашать в мире то, что наименее философично; респект перед властью и привычку к страху, который превращает этот респект в восхищение.» Кристоф тоже находит это чувство как у самых великих, так и у самых ничтожных немцев - от Вильгельма Теля, осмотрительного мелкого обывателя с натруженными мускулами, который, по выражению свободного еврея Бёрна привёл честь и страх в согласие друг с другом, пройдя мимо столба «любимого господина Гесслера» с опущенными глазами, убеждая себя, что тот, кто не видит шляпы, не является непокорным, - «вплоть до почтенного семидесятилетнего профессора Вейлсе, одним из наиболее уважаемых учёных города, который поспешно уступал тротуар и отступал в придорожную канаву, если мимо проходил господин лейтенант».

Далее идёт:

В остальном Германия несёт тягчайший груз греха Европы: если некто одерживает победу, он несёт ответственность за это; он становится должником побеждённого. Он как бы молчаливо взваливает на себя обязанность идти впереди него, указывая ему дорогу. Победоносный Людовик XIV принёс Европе блеск французского разума. А какой свет принесла миру Германия от Седана?»

Итак, ещё одно любвеобильное описание. И всё же я не должен ничего забыть и, чтобы не оказаться несправедливым, не смею умолчать о том, что в ещё одном месте этого романа вырисовывается нам навстречу относительно немецкой сущности. Это то место, когда один немецкий профессор в маленьком городе, - его зовут «Шульц» - воодушевляется юношескими произведениями Иоганна Кристофа, теми, которые не получали признания у других. Тут находятся ещё два других знакомых, и затем, после того, как Иоганн Кристоф исполняет свои произведения и приводит в восторг этих троих, устраивается трапеза, грандиозная обеденная трапеза. При этом Саломея, кухарка старого профессора, который давно овдовел, радуется тому, как все они могут есть. Здесь один фрагмент немецкой сущности описан поистине «любвеобильно» и «культурно исторически верно».

Саломея, чтобы увидеть, как там в комнате наслаждаются «фрагментом немецкой культурной сущности», подглядывает в дверную щель; рассказывается о том, что она видит:

«Это была своего рода выставка незабываемой, настоящей, неиспорченной немецкой кухни с её арматами всех трав, её жирными соусами, питательными супами, её образцовыми отбивными, монументальными карпами, с её гусями, домашним тортом, с её хлебами на анисе и тмине».

Не стоит удивляться, что Иоганну Кристофу, после того, как он попробовал всё это захотелось «выйти вон», оставив это общество, поскольку его гениальность в таком окружении расцвести не могла. Однако этот Иоганн Кристоф, в сущности, ничего не знает о Франции. Он совсем необразован, он всего лишь великий музыкант. Но так как он ничего не знает, его уход во Францию характеризуется следующим образом:

«Инстинктивно, так как он не знал Франции, глаза его засматривали в сторону латинского юга. И в первую очередь, в сторону Франции. Во Францию, в вечное убежище от немецкой неразберихи.»

Во Франции он находит себе друга Оливера. И тот проливает ему свет на течение молодых французов. По эту сторону Рейна так воодушевляет то, что говорят эти молодые французы о немцах. Оливер объясняет Иоганну Кристофу особенности точки зрения этих молодых французов о сущности официального Парижа, объясняет то, против чего он раньше вёл такую же политику, как и другие:

«Лучшие среди нас утеснены, они как заключённые на своей собственной земле... Никогда не узнают, сколько мы выстрадали, мы, те, кто связан с гением нашей расы, кто как священное сокровенное благо хранит и отчаянно защищает его свет, который мы ощущаем от него, защищает от враждебного дыхания, желающего его угасить. Мы стоим в одиночестве, чувствуя вокруг себя спёртый воздух тех чужаков, которые как комариный рой набросились на наше мышление, чьи отвратительные лярвы вгрызаются в наш разум и пачкают наши сердца; защищают от тех чьей миссией должно было бы быть - защитить нас от наших начальников, наших слабоумных или трусливых критиков, которые предают нас. Они льстиво заискивают перед врагом, чтобы заслужить себе прощение за то, что они - наше поколение. Мы оставлены, забыты нашим народом, который не печётся о нас и о нас не знает... Какие средства есть у нас, чтобы сделать себя понятным для него? Мы не можем проникнуть к нему... Это самое трудное Мы знаем, что нас во Франции тысячи, тех, кто думает так же; мы знаем, что мы говорим от их имени, и не можем ничего сделать, чтобы стать услышанными! Враг владеет всем: газетами, журналами, театрами... Пресса избегает любых мыслей, или допускает их лишь тогда,

когда они являются инструментом удовольствия или партийным оружием. Интриги и литературная клика открывает туда доступ только тем, кто предал самого себя. Нищета и чрезмерный труд пригибают нас к земле. Политики, думающие лишь об обогащении, интересуются только продажным пролетариатом. Безразличная и корыстная буржуазия остаётся зрителем наших стремлений. Наш народ нас не знает: даже те, кто ведёт борьбу наравне с нами, подобно нам окружены молчанием, ничего не знают о нашем существовании, и мы ничего о них не знаем... Несчастный Париж! Конечно, есть и нечто хорошее в том, что все силы французской мысли упорядочены по группам. Но зло, создаваемое этим, по крайней мере, равно добру; и даже само добро в эпоху как наша, обращается во зло. Этого достаточно, чтобы псевдо элита Парижа ранила сама себя, звоня в необъятные колокола общественности, чтобы заглушить голос остальной Франции. Дальше - ещё больше. Франция сама себя сбивает с толку; она озадачено молчит и боязливо прячет в себе свои мысли... Раньше я очень страдал от всего этого. Но сейчас, Кристоф, я спокоен Я понял мою силу, я понял силу моего народа.

Мы только должны дождаться, пока это наводнение минует. Оно не разрушит тонкий гранит Франции. Я хочу помочь тебе почувствовать её посреди хлама, который принесло с собой наводнение. Уже то тут, то там выступают вершины высот...»

В сущности, большего и не требуется, чтобы характеризовать то французское начало, которое ведет сейчас войну против Германии. Но, - мне хотелось бы сказать, - имеется нечто, более прекрасное. Итак, этот роман появился. Он даже был переведён на немецкий язык. Я могу зачитать вам ещё пару слов одного немецкого критика; они представляют собой суждения о Ромене Роланде и в эпистолярной форме напечатаны в одной из берлинских газет.

«Завершение Вашего «Жана Кристофа» является для меня в большей степени этическим событием, чем литературным. Гобино, Метерлинк, Верхарн и даже Валерии пользуются в Германии живой славой, их истинное влияние проявилось тут раньше, чем во Франции и было бы справедливо, если бы и Вы у нас удостоились признания раньше, чем на Вашей родине, ибо как ни одна книга, Ваша принадлежит Германии, стране музыки. Во многом это немецкая книга, роман о развитии, как «Зеленый Генрих», как «Вильгельм Мейстер»... Немецкую музыку, которая привлекла мир к Германии, Вы избрали посредником, который позволил Вам высказаться; она была для Вас тем, что привело Вас к немецкой речи и позволило полюбить Гёте, котрому Вы в своих трудах неоднократно возводили памятник любви и признательности...

Я смущён тем, сколь за многое должен благодарить Вас. Человек, почитатель, художник, немец, мировая радость во мне - каждое рвётся вперёд и хочет сказать Вам слово. Однако иной раз слово об этом романе должен говорить художник, иной раз - почитатель, и человек должен дожидаться, когда он снова пожмёт Вам руку. Сегодня очередь благодарить лишь от имени немца; ибо у меня есть чувство, что французская молодёжь стала нам ближе благодаря этой книге, которая сделала больше, чем все дипломаты, банкеты и союзы.»

Вот образец того, насколько неверно может быть понята несущая сила немецкого Духа, и как великие по своей боли события, которые мы вынуждены переживать, открывают глаза на многое; поистине, они должны действовать, открывая глаза. Вы простите, если я в конце приведу то, что выглядит как личное, но связано с личным только тем, что я именно сегодня узнал об этом.

Духовнонаучное направление, к которому мы принадлежим, несколько лет тому назад имело некоторые отношения с теософским движением, чьим местопребыванием были Англия и Индия. Это движение постепенно принимало столь абсурдный характер, что иметь дело со многим в этом англо-индийском теософском движении стало более несовместимым с настоящим чувством истины. Вот почему за годы до этой войны последовало абсолютное отделение от него. Нас тогда поносили даже немецкие приверженцы этого движения; можно было бы употребить и более крепкие слова. Но

тогда казалось, что теперь всё это пройдёт, и что сейчас нет повода возвращаться к этому. Однако президент этого англо-индийского движения почла себя обязанной именно теперь, снова вернуться к тому предмету, чтобы характеризовать немцев. И она сделала это в словах, которые приводятся здесь не вследствие личного уважения, но чтобы показать, как кое-кто способен со своей стороны характеризовать то, что мы, как немцы должны были делать, исходя из нашего чувства истины.

«Теперь, если я оглянусь назад в свете немецких методов, которые открыла нам война, я узнала, что продолжительные старания захватить теософскую организацию и поставить во главе её одного немца, гнев против меня, поскольку я разделяла эти усилия, (работая на этом месте - примеч. перев.), жалобы, что я, вместо того, чтобы воздать честь кайзеру. Говорила о покойном короле Эдуарде VII как о защитнике мира в Европе - всё это было частью широкой поставленной компании против Англии. Что эти миссионеры были инструментом, который здесь - в Индии - ловко использовали немецкие агенты, чтобы осуществить их планы. Если бы они смогли превратить Теософское Общество в Индии с его большим числом управляющих чиновников в орудие против британского правительства, и внушить им смотреть на Германию как на свою духовную водительницу, вместо того, чтобы отстаивать, - как всегда они это делали, - равноправный союз между всеми нациями, то они стали бы постепенно каналом яда в Индии».

Вот оказывается кем являемся мы в нашем духовнонаучном движении, будучи рассмотрены англо-теософскими глазами. Но я смею сказать, - извините меня за это замечание; вы ведь знаете, что я неохотно делаю личные замечания, - я могу дать гарантию, что ни в коем случае не имел намерения делать всё это, и, прежде всего не имел намерения оставить немецкое духовнонаучное движение. Ибо ни во мне, ни как я полагаю, во многих других, знающих о немецком Духе и его несущей силе, не жило то, что жило в Иоганне Кристофе, который, следуя инстинкту покинул Германию. Ибо хотя трудно те непосредственных явления, на которые направлен непонимающий взор пассажира – Роланда, связать с несущей силой немецкого Духа, то надо всё же сказать: для реальной немецкой сущности будет всё более и более возможным, - особенно вследствие событий нашего судьбоносного времени, - проложить мост между тем, что мы переживаем в повседневной жизни, и тем, что является несущей силой немецкого Духа. И когда мы описывали все фигуры в окружении Иоганна Кристофа, фигуры, от которых стремился уйти его «гений», тогда, возможно, в заключение, без само-возвеличивания, следовало бы сказать:

Сейчас я не хочу цитировать иностранца, но обращусь к тому, кто уже давно умер, умер в 1230 году, и кто со своей стороны тоже высказывался о том, должен ли немецкий гений изгоняться своим окружением, изгоняться из всего того, что живёт в этом окружении в Минах и Розах с кривыми носами, которые знакомы с немецким идеализмом как с носом Джуны Людовицы. Имеется в виду не тот «гений», как Иоганн Кристоф, но тот, о котором мы, благодаря связи с несущей силой немецкого Духа знаем, что это был немецкий гений. С одним таким немецким гением, без превознесения, мы на мгновение можем мысленно соединиться: с Вальтером фон Фогельвейде. И мы смеем считать; не по Иоганну Кристофу, герою, описанному Роменом Роландом, надо судить о воздействии на гения немецких мужчин и женщин, но по такому мыслителю, по такому духу как Вальтер фон Фогельвейде. Пусть же его словами будут завершены те рассуждения, к которым завтра должна будет примкнуть одна специальная духовнонаучная лекция.

Вальтер фон Фогельвейде был изгнан из Германии не вследствие его инстинкта; он должен был думать иначе о тех, среди кого он жил. Я не знаю, как были бы описаны они рукой Романа Роланда; но Вальтер фон Фогельвейде говорит о них, и мне это кажется гораздо более лучшим пониманием, чем то, которое выдал Ромен Роланд:

Мужи немецкие изрядно добродушны,  
И ангелам подобны жёны их.

Кто их корит - обманам стал послушен,  
Не знаю я к тому причин иных.  
Любовь и добродетельна и кротка,  
Кто хочет это чувство разделить,  
Пускай в мою страну направит стопы,  
Где я хотел бы очень долго жить.